

Вечное горе мамино. Солонее соли, горше лука. Шлимазл*. Находка для военкомата. Недоученный баянист, дворовый гитарист, немного спортсмен и к тому же кандидат в члены КПСС. Такого затолкай куда угодно — и он будет старательным, жаловаться не станет. Я еще не знал вкуса первой кровавой юшки, а стройбат уже облизывал по мне пальчики.

Я вас умоляю, как я верил в то, чему так и не суждено было состояться в моей жизни!.. Впрочем, не во всей жизни, конечно, а в той ее части, где остались два армейских года. И только гитара с баяном, старые мои друзья-приятели, отрывают от души коросту, прикладывают к сердцу песню, как бальзам, и лечат, лечат...

Проводы мои были шумными и веселыми, как еврейский анекдот.

— Посмотри, на кого ты похож, солдат! — возмущился генерал при виде дохлого еврейского мальчика, одетого в х/б 56-го размера.

— На тетю Цылю, — ответил горе-солдат, искренне глядя в глаза генералу.

Со мною все будет смешнее, но об этом потом. Меня кружат в танце девчонки из общежития, где комендантом моя мама. И даже Светка, вместе с другими однокурсниками приехавшая на проводины, разрешает мне целовать себя, но тормозит, если полез далеко. Говорит, что... А, впрочем, какая сейчас разница, что она тогда говорила?.. Ждать не обещала, и на том спасибо.

Сейчас спасибо. А тогда плохо, ой как плохо...

Вы спросите, почему я попал служить в стройбат, куда редко призывали детей из приличных семей? Не знаю. Но, думаю, если бы мама знала, куда я попаду, то легла бы на рельсы под поезд, который повез меня из Хабаровска в Ангарск. Но мама не знала. Она была уверена, что через день-два увидит меня в форме по-

* Шлимазл — на идиш так называют патологического неудачника. В более жестком смысле — дурак, кретин.

граничника совсем недалеко от дома. В этом ее убедил старый знакомый из призывной комиссии биробиджанского военкомата. Команда 220/18 формировалась в Хабаровске двадцатого ноября 1976 года, в день моего рождения. Не самый приятный подарок к празднику.

*Команду номер двести двадцать
Мне дал родной военкомат.
Родная мама, вытри слезы:
Твой сын попал служить в стройбат.*

Я еще не знал слов этой песни, когда встретил в поезде мамину знакомую. — Тетя Галя, скажите маме, что я еду в Сибирь, в город Ангарск, и там буду служить в стройбате, — попросил я.

— Я все передам, Сашенька, — ответила тетя Галя и посмотрела на меня так, как смотрят вслед скорой помощи, увозящей больного в реанимацию.

В тот же вечер она позвонила маме и слово в слово передала наш разговор.

4

Разве я смогу описать мамину реакцию так же, как тетя Рива Сергеева — вахтер общежития швейной фабрики и мамина подруга?! Только у нее получалось так точно изобразить выражение маминого лица, ее голос... Я могу только попробовать рассказать вам все это, подражая тете Риве.

Драбкина сняла трубку и ни с того ни с сего гаркнула: «Заткнитесь!» Она гаркнула так, что на вахте погасли две лампочки. Вы думаете, все замолчали? А как же! Никто не замолчал — все заткнулись. «Это Галя. Она видела Сашу, — сообщила всем Драбкина. Потом она вросла в трубку, как осколок в моего Сергеева (он еще с войны врос и до сих пор болит). — Галочка, где ты его видела? В поезде? Его везут в стройбат?! В Ангарск?! Дура! Ты понимаешь, что ты мне сейчас говоришь?! Сашу — в стройбат! Этого не может быть, потому что у него десять классов, он играет на баяне и занимается боксом!...»

Характерным жестом тетя Рива показывает, как трубка легла на телефон. Будь это в нынешнее время, телефон пришлось бы покупать новый. Но это было давно, и телефоны еще не завозили из Китая. Если бы тот телефонный аппарат мог говорить, он бы расплакался: «Рива Яковлевна, ну сколько можно бить меня по голове?! Я же не виноват, что ваш Саша в стройбате».

5

Кто же был тогда со мной на вокзале?.. Ольгу Фокину помню. Красивая Фока, и умничка. Мама так хотела, чтобы у нас с нею что-то было, а мы оставались просто друзьями-одноклассниками. Все уже разъехались по институтам, и только мы с Фокой не прошли по конкурсу. Она работала токарем на заводе «Дальсельмаш», а я — на «швейке», и тоже токарем. Да, точно, Фока тогда пришла на вокзал. Еще были несколько девчонок из общаги — той самой, где моя мама работала комендантом.

Женское общежитие — мой дом, который я оставил, садясь в вагон, увозивший меня в армию.

В коменданты маму перевели после того, как кисть ее правой руки осталась на полотне барабана чесальной машины. В общаге нам было предоставлено отдельное помещение. Мне, брату и бабушке оно служило жилищем, а маме — так еще и рабочим кабинетом все двадцать четыре часа в сутки.

Дверь квартиры практически не закрывалась на ключ. Днем и ночью в нее стучали все: жильцы общежития, вахтеры, сантехники... И даже инспекторы охраны рабочей зоны стучались. Пилорама «специального назначения» размещалась сразу за общежитским двором. Если из зоны кто-то сбежал (к счастью, это случалось нечасто), маме выдавали ориентировку. И милиционеры, и охранники предполагали, что беглец, конечно же, попытается спрятаться в общежитии, и почему-то были уверены, что мама, встретив того бегльца, незамедлительно задержит его единственной своею рукой.

О вахтерах общежития нужно говорить отдельно.

Та самая тетя Рива Сергеева, о которой вы уже знаете, во время войны, чтобы обогреть дом, таскала в мешках уголь из какой-то котельной, где работал экскаватор. Однажды она попала под ковш и осталась калеккой. Сильно хромала, а на какую ногу, я уже и не помню. Ее муж, дядя Саша, в это время героически воевал в штрафном батальоне. У тети Ривы было четверо детей, звонкий голос и душа — широкая, как вся тетя Рива. Жила семья скромно. При этом дядя Саша, как многие штрафники и не только, любил выпить, и сыновья их, Витька и Толик, тоже выпить любили, в связи с чем все имеющиеся в ее распоряжении деньги тетя Рива хранила исключительно в межгрудном пространстве под известным предметом женского белья. И наличие этой наличности тетя Рива не забывала проверять даже в минуты, когда ее широкую грудь до краев наполняла песня.

«Разговоры, разговоры, — затягивала тетя Рива, — слово к слову тянется...»

Тут она ощупывала свою «банковскую ячейку» и вдруг строго спрашивала: «Витька, где мой кошелек?!» Можно подумать, Витьке вообще могло прийти в голову извлекать средства из такой «ячейки». Обнаружив «пропажу» нетронутой, тетя Рива с удовольствием продолжала петь: «...Разговоры стихнут скоро, а любовь оста-а-не-е-тся!»

Или вот, например, тетя Поля Заславская — замечательная, добрая женщина, регулярно диагностировавшая у себя самой страшные заболевания.

— Видите, Дрabbкина, у меня рак! — тетя Поля плюет себе в ладонь и демонстрирует содержимое маме. — Я вижу здесь рак! — причитает она. — Позаботьтесь о моей дочери Биночке...

— Полина Яковлевна, — отвечает ей мама, — при такой сраке не бывают «раки».

На такие слова тетя Поля сильно обижалась.

А еще мирный сон молодых тружениц текстильно-швейной фабрики оберегала тетя Фаня Семичева. Она была не просто вечным часовым вахты. У многих бытовало мнение, что она сидит на вахте исключительно из идейных соображений. Впрочем, тут я перегнул. Само по себе словосочетание «идейные соображения» вряд ли тогда кто-то использовал.

Я ничего не знаю о личной жизни тети Фани, но мужчин она ненавидела лютой ненавистью, как аллергики запах дуста. Она была уверена, что основная цель мужчины — написать девушке письмо, обмануть ее и... не жениться.

Когда ранним чистым утром общежитские девчата подходили к вахте с главным для них вопросом «Почта была?», в воздухе в ту же секунду мате-

риализовывался искренний и пронзительный, наполненный страдальческим негодованием монолог тети Фани: «Вот, утро начинается. Почта была? Почта был? Почта была?.. А что вам почта? Что вам почта?! Он все равно напишет, обманет и не возьмет!»

И женское общежитие, зачастую так и не дождавшись почты, пудрилось и красилось небогатой советской косметикой и уходило в цеха, где гремели машины. И в этом кошмарном грохоте кто-то даже пел песни. Громко пел, но их все равно никто не слышал.

Вечерние сцены на общежитской вахте были не менее интересны по содержанию, внутренней и внешней экспрессии. Звонил телефон — и тетя Фаня бдительно снимала трубку. «Але, вахтер тети Фани Семичевы слющи вам», — громко говорила она человеку на том конце провода.

Несколькими месяцами позже я буду вспоминать ее, услышав, как представляется по телефону дневальный по роте Байбала: «Дежурни тумбачка Байбала слющи». Но об этом рано пока. Я еще дома. Я у вахты и слышу продолжение телефонного разговора тети Фани с неизвестным мне абонентом.

«Слющи вам, общежитии, вахтер Семичева. Ах, вам позвать Лида из тридцать восьмая комната? Да! Да! Да! Да! Чичас, я побегу на третий этаж. Что, ты уезжаешь? Ах! Езжай себе к чертовой матери. Ты все равно напишешь, обманешь и не возьмешь!»

Как только тетя Фаня с негодованием возвращала трубку на рычаг, появлялась та самая Лида. Или Оля, или Валя... «Мне не звонили?» — спрашивала она. И все начиналась заново.

«Что вам звонили или не звонили? Он сказали, что уехала. Он тебе напишет, обманет и не возьмет!»

Вопреки очевидной бдительности всех вахтеров и лично моей мамы большинство рано взрослевших пацанов из окрестных дворов утверждали, что стали мужчинами именно в этом общежитии. Я себя к числу «победителей» не относил — потому хотя бы, что мне не приходилось влезать в окна по пожарной лестнице, поскольку всегда мог пройти через вахту. Но то, что пацаны считали «победой», конечно, однажды случилось и со мной. Только сейчас-то я точно знаю, кто кого тогда победил. Мама об этой «победе» не догадывалась. Она вообще в некоторых ситуациях была до смешного наивной.

Спустя девять месяцев после чьей-то очередной «победы», одна из маминых подопечных почувствовала себя крайне плохо. Была она полненькой и платья носила соответствующие, но все, конечно же, знали о причине ухудшения ее самочувствия. Все, кроме коменданта общежития. Прибежав в комнату, из которой сообщили о внезапном заболевании жильца, мама спросила, что случилось. «Пирожком подруга отравилась», — ответил ей кто-то в шутку. Но надо знать мою маму! Она тут же принесла марганцовку и стала требовать, чтобы больная пила ее для очистки желудка. Та, естественно, ни в какую. Вызвали скорую, девушку увезли.

— Это же надо, а?! — причитала мама на вахте, где в это время дежурила тетя Рива Сергеева. — Отравиться пирожком в нашем буфете! Скажу Фене — она не поверит. У нее всегда все свежее!..

Зазвонил телефон. Тетя Рива сняла трубку, внимательно выслушала звонившего, положила трубку и сказала:

— Драбкина, успокойтесь, «пирожок» уже вышел полностью: вес три с половиной килограмма, рост пятьдесят три сантиметра.

Для чего я вам это рассказываю? Только для того, чтобы вы сумели себе представить, какой шлимазл вырос в таких своеобразных условиях.

Отец меня в армию не провожал. Мы виделись редко — когда он приезжал в Биробиджан, и встречи наши нельзя было назвать душевными. Я знал только то, что он работает не то директором, не то завучем в какой-то сельской школе. Отец ушел из семьи сразу после того, как маме ампутировали руку, и именно поэтому. Во всяком случае, так всегда считали мои родственники. Сейчас я понимаю: все было гораздо сложнее, но не буду водить читателя по дебрям семейных проблем. Просто... Просто мужское близкое родственное присутствие в семье необходимо каждому мальчишке, а я от прочих не отличался. Может, даже больше других нуждался в мужском воспитании.

Сашка Арефьев, муж моей троюродной сестры Вали, был тем мужчиной, которого я мог сам себе ставить в пример. Он вырос в детском доме — настоящий мужик, который сделал себя сам. Несколько лет он работал в геологических партиях, а после, имея очень плохое зрение, стал класным бульдозеристом. Он был силен физически, умел разговаривать на языке, понятном даже людям, за спиной которых были немалые сроки отсидки в лагерях. Сашка показал мне первые аккорды на семиструнной гитаре и научил первым песням Владимира Высоцкого. Он был добр и мудр.

В армию Сашка Арефьев провожал меня на правах старшего брата. Я внимал его дорожным советам, как человек верующий внимает увещаниям священнослужителя. На вокзале он чуть ли не силком затолкал мне в карман двадцать пять рублей, которые я потом, по пути в Ангарск, проел и пропил вместе со всеми.

Бокс, улица, женское общежитие остались на перроне сами по себе, а Сашка — отдельно, особой строкой, куском жизни, так мною до конца и не понятым.

Сашка в стройбате не служил. Он вообще не служил в армии, но я уверен: его бы слушались все. И даже сам Борман — стодвадцатикилограммовый боксер и уголовник, страх и закон нашей второй роты.

Когда я все-таки вернусь из далекого ангарского военно-строительного отряда, мы с Сашкой даже будем выпивать иногда — то у меня дома, то у него. У меня не сложится семейная жизнь с первой женой, но Сашка всегда будет на ее стороне — только потому, что она тоже детдомовская, а значит, ему как сестра. Потом общение сойдет на нет, и мы, два Сашки, потеряем друг друга, как это часто случается с людьми в суеде привычных будней...

...Бульдозер С-130 ровнял площадку под строительство новых жилых домов. В нынешнем Биробиджане это район Шолом-Алейхема, 121. За много лет до того дня здесь был вырыт, а после присыпан землей и шлаком резервуар с водой для пожарных нужд. Все забыли о его существовании и потому не указали на карте. Разве ж мог бульдозерист Арефьев об этом знать?!

Машина ушла под землю на восемь метров. Земля сомкнулась. Говорят, Сашка даже не пытался покинуть кабину — руки так и сжимали рычаги управления. У него остались две дочери. Старшая к тому времени уже училась в университете, младшая заканчивала школу.

Я смотрел на Сашку, лежащего в гробу, и все происходящее казалось мне очередной его шальной шуткой. Я вспоминал стройбат и в последний раз благодарил его за мудрые советы. И за те «армейские» деньги, конечно. И за то, что научил меня играть на гитаре. И за то, что вообще многому меня в этой жизни научил. Я тебе, Сашка, дальний мой родственник и очень близкий мне человек, и сейчас благодарен.

Я впервые надолго оставил Биробиджан.

В Хабаровске, в доме культуры какого-то завода, мы ждали «купцов» — офицеров, которые должны были разобрать нас по войсковым частям. Я тогда почти наизусть выучил фильм «Щит и меч», нам его несколько раз крутили. «Купцы» разбирали пацанов и увозили их куда-то, а мы все сидели и сидели в клубе. Догрызали домашнюю снедь, которую мамы чуть ли не насильно затолкали в наши рюкзаки и сумки. Еще я тайком от других доставал Светкино фото, долго смотрел на него и мечтал, как вернусь домой большим и сильным, и она посмотрит на меня совсем по-другому, и мы пойдем с ней по улице за руку... Из мечты в реальность меня возвращал все тот же «Щит и меч». Киносееанс был бесконечным. Под голос Иоганна Вайса я засыпал и просыпался. Он звучал в голове, даже когда снилась мама...

«Драбкин Александр Леонидович!» — крикнули со сцены, и я робко пошел в неровный строй нетрезвых людей.

Да пребудет в здравии хабаровский призыв ноября 1976 года! Сашка Сайфулин, он же Мулла. Филиппов Мишка — ну этот, понятно, Филипп. Сергей Чернышкин, единственный среди нас человек с высшим образованием. Вовка Зайцев, хорошо игравший на гитаре, знавший ноты. И, конечно, Костик Финкельсон, любимчик стройбата, «метр с кепкой на коньках», футболист и юморист, какого еще поискать. Костик — единственный из нашего отряда, кого я несколько раз встречу после дембеля. Он прочтет раннюю мою книжку и осудит за то, что не по-доброму я написал про стройбат. Костик будет отчаянно убеждать меня, что там было теплее и справедливее, чем в нашей поганой жизни...

...Мы выпрыгиваем из вагона на ангарский перрон. Неровный строй из двадцати человек. Я в чем вошел в поезд, в том его и покинул, ничего не растеряв. Разве что Сашкины деньги потратил. А вот Филипп, например, без верхней одежды. Он пропил ее еще в районе станции Могочи. Его шею украшает шикарный шарф, который не был пропит нашей компанией только потому, что Филипп не успел должным образом подготовить его к продаже, как другие старые мохеровые шарфы, выпрошенные у беспечных пассажиров. Каким-то чудодейственным способом Филипп умудрялся простой металлической расческой привести эти скромные шарфы в такое состояние, при котором у многих возникала иллюзия, что они новые. Тот, кто на этот трюк покупался, платил за изделие бутылку любого напитка, способного опьянить. Но наша дорога закончилась. Поезд поехал дальше, а Филипп остался с шарфом. Лысый, мудрый, дерзкий и добрый.

Нас привезли в клуб и поселили там для прохождения карантина. Утром я узнаю, что такое сон-тренаж, и впервые почувствую, что такое еврей в дружной семье советского народа.

«Стройбат: скоро «дембель», — через много лет прочту я в «Комсомолке». — Военно-строительные отряды давно стали позором нашей армии...»

Это ж подумать только! Наш начштаба майор Довжик говорил то же самое, только использовал при этом слова военной присяги: «Пусть меня постигнет суровая кара, презрение и ненависть моих товарищей...»

«Так вот, — говорил нам майор Довжик, — презрение и ненависть народа наши войска уже заработали, что же касается суровой кары, то вряд ли вам всем удастся ее избежать».

Майор не ошибся. Сашка Сайфулин, еще один Сашка — Климов (по кличке Бог)... Да мало ли их нашего призыва, кому суждено было после одного срока тянуть другой?! Кому лагерь, кому «дизель»*, а кому и психушка. Сашка Хрепков поехал домой со справкой именно из этого учреждения. А Вовка Рожков, ныне покойный, так справкой даже гордился, ибо она позволяла ему оказывать всяческое неповиновение старшине и даже гоняться за последним с огромным ножом, специально для этих целей одолженным из хлебозерезки. И это только один призыв 1976 года.

И не очень страдали мальчики, меняя погоны ВСО на черную эзковскую робу. Там не надо драться за пайку белого хлеба в столовой, спать по три часа в сутки, изо дня в день ходить по краю между зоной и волей. Там — как себя поставишь. Там есть закон, а в стройбате его нет.

Молодых бьют каждый день, но раз в месяц, в день получки, кровавый шабаш достигает апогея. Салагам, как правило, денег оставляют на пару пачек «Беломора». Все остальное перекачевывает в карманы дембелей, а после — в кассы магазинов, где спиртного в те годы было пруд пруди. И не дай бог молодому к ночи попасться на глаза отдыхающих «дедушек».

9

Если бы мама успела узнать, что в Комсомольске-на-Амуре в пьяном и забытом одиночестве умер мой армейский друг Костик Финкельсон по кличке Филя, она бы очень расстроилась. Во-первых, мама хорошо знала и помнила фабричного хохмача Изю Финкельсона — Костиного отца. Он какое-то время играл роль официального конферансье нашей самодеятельности.

Во-вторых, я маме много рассказывал о Косте, он заходил к нам в гости, когда приезжал в Биробиджан к родственникам. Мама не знала, конечно, о том, что я обязан Косте здоровьем своим, а может, и жизнью. Ну не мог я рассказать маме обо всем, что со мною случилось! Там, в Ангарске, было много такого, что могло закончиться госпиталем, инвалидностью и комиссованием из армии.

Но кто из нас думал тогда о последствиях глупых, бестолковых мальчишеских решений?! Не все прошли через следственные изоляторы лагеря, потому и глупили на каждом шагу, а я, выросший под ежедневной маминой опекой, глупил чаще прочих. Героем я никогда не был. В школе получал от малолетних хулиганов больше, чем весил.

Но все закончилось в восьмом классе, когда я пошел заниматься боксом. Дворовые хулиганы тоже ходили в эту секцию, меня стали считать своим — и проблема вечно разбитых очков ушла сама по себе. Я думал, что это навсегда, но как же я ошибался! Впрочем, в том моем возрасте ошибаются все.

На ринге я был один на один с соперником, при этом судья следил за соблюдением правил. Другое дело стройбат. Там били без перчаток, без правил и всем, что попало под руки... В общем, надо было все начинать сначала. По-другому бить, по-другому терпеть других.

10

Народу в армейской бане было больше, чем обычно, и при этом никто не мылся и мыться не собирался. Деревянные вешалки были раздвинуты по сторонам, а на образовавшейся свободной площадке шла какая-то возня. Очки у меня запотели

* «Дизель» — дисциплинарный батальон.

с мороза, и я почти ничего не видел. Мне сказали, что там идет боксерский бой: Сашка Барончук, он же Хохол, дерется с каким-то чуркой.

Я протиснулся ближе к центру. То, что я увидел, на бокс было похоже меньше всего. Хохол, видимо, уже устал, так что получал много и больно. Из носа подтекала бурая юшка, он хрипел и уже почти не стоял на ногах. И черт дернул меня প্রশেলестеть: «А можно я попробую?..»

«Жид из второй роты хочет по соплям от узбеков!» — крикнул рыжий дембель по кличке Змей, и народ дружно заржал.

Я потом самому себе пытался ответить, на кой ляд я подписался на драку, — и стеснялся получить настоящий, ненадуманый ответ. Стеснялся вспомнить, как получал в школе и молчал в тряпочку. Нет, баянист, конечно, и все такое... А по сути — клэйнер идишер шлимазл*. И Светка, может быть, не особо отвечала на мои знаки внимания все по той же причине.

Бокс выручил, как «Тайд» в рекламе. Я полюбил этот спорт как друга, как защитника своего. На тренировках пахал, что тебе ударник социалистического труда, а главное — в перчатках вообще никого не боялся.

Здесь, в стройбате, моя еврейская наружность попала под раздачу первой. Господи, как меня били! Почти каждый день. Отвечать было бесполезно. Не тот закон и силы не те. Снова, как в детских снах, пришел страх, и я уже ничего не мог с ним поделать. А тут — вот они перчатки. В перчатках я встану перед кем угодно. Только азарт, хитрая игра, которую я когда-то так любил.

Мне надели перчатки на руки и больно щелкнули по лбу, когда я спросил, есть ли чем забинтовать кисти. Кто-то из дембелей показал боксерскую стойку, после чего я увидел перед собою совсем другого узбека, не того, что дрался с Хохлом. Мне, мало еще битому придурку, и в голову не пришло сделать вид, что я не имею представления о боксе. Старый финт, показанный когда-то тренером Владимиром Ивановичем Тепатовым, сработал безотказно, как автомат Калашникова, который, к слову, я в армии даже в руках не держал. Я показал удар левой снизу в корпус, но это была только имитация апперкота. Резко, через правую руку прямой в челюсть — и худой узбек лег на пол аккуратно, как бетонная плита перекрытия ложится в грузовой вагон.

Кто-то вел счет, а узбек, первый битый мною узбек, закрывал лицо руками и мотал головой. «Моя не надо», — мычал он. Публика ликовала: жид положил на пол чурку!

В тусклом банном свете я увидел еще одного земляка моего противника. Это был Талыбов. Про него говорили, что он будущий мулла и что он не смог откупиться от армии. Талыбов дрался крепко. Боксировать он не умел, но тяжелые его удары открытой перчаткой иногда достигали цели, и было очень больно. «Это не по правилам!» — кричал я, как может кричать только наивный дурак. Но в ответ раздавался ехидный гогот: «Бей жидов, спасай Россию». А еще кто-то крикнул: «Бей без правил, тут их нет».

Ну нет так нет. Я нырком ушел от его правой, ударил левым боковым в челюсть и... добавил локтем. Талыбов лежал на полу. Я снял перчатки и тоже бросил их на пол. Кто-то крикнул, что сегодня я не буду мыть полы в бане. Я надел очки, бушлат и шагнул в дверной проем на выход... Сверкнули в глазах желтые искорки, что-то внутри хлопнуло, потом удар в затылок тупым и твердым предметом — и темнота... Меня подняли. Тошнило сильно. Я услышал: «За что ты его, Змей?» И в ответ голос Головина из первой роты: «За то, что жид. Он, сука, не сказал, что занимался боксом, а то бы кого-нибудь посильнее поставили. Жиды, они везде

* *Клэйнер идишер шлимазл* — маленький еврейский неудачник.

жиды». «Так он вроде же говорил...» — возразил неизвестный мой заступник. «Да и хер с ним, что говорил», — поставил точку в разговоре Змей.

Я дошел до роты. На вопрос дембелей, кто меня ударил, ответил, что не знаю, упал в темноте...

...А потом были тупые стройбатовские разборки между дембелями первой и второй рот. Я не знал тогда, что накануне боев дембеля затеяли что-то вроде тотализатора. Первая рота ставила на узбеков и проиграла, а я, по мнению Змея, должен был пойти под раздачу из-за того, что не сообщил о своих занятиях боксом на «гражданке». Вот тогда-то Филя и сказал свое слово. В юности, перед армией, он был близок с солидными общаковыми авторитетами из Комсомольска и не хуже бывалых арестантов мог «раскинуть по сути проблемы». Он сказал, что Драбкин до драки в бане вообще был не в теме, а «косяк по незнанке не канает». Это означало, что я не был осведомлен о дембельском споре, так что и отвечать мне не за что. К тому же Змей уже «спросил с меня». Так я в очередной раз чудом остался при неотбитых почках.

Откуда ж маме было знать об этой истории?! Да и мне о дембельском суде Костик рассказал уже много лет спустя.

О его смерти я узнал только через две недели, когда ехать в Комсомольск-на-Амуре уже не было смысла. Быть может, я еще попаду в этот город и кто-нибудь покажет мне Костину могилу.

11

Сколько помню себя, всегда и везде ел досыта. Бабушка, мама готовили вкусно и много, и в пионерских лагерях еды хватало на всех. Военных строителей на заводе тоже кормили хорошо, разве что ночной смене полагались лишь булочка и кофе, общей стоимостью в двадцать семь копеек. Выручали молочные талоны, которыми нас снабжала администрация завода, да и гражданские делились, не жадничали. Талоны на еду и молоко у молодых забирать запаadlo — закон.

Лишить сна, заставить делать свою работу — пожалуйста, а едой не наказывают. Не отбирали даже сливочное масло, которое в стройбате первые полгода выдавали только тем, кто в суточном наряде. При всем при этом военнообязанному организму страшно не хватало сахара, да и вообще лишний раз умыкнуть что-нибудь из армейской кухни не считалось правилом плохого тона.

Кухней и столовой заведовал сержант срочной службы Курген с нередкой армянской фамилией Карапетян. Сволочь конченная, и вовсе не потому, что армянин, а потому, что сволочь. Мало кому удалось избежать его фирменных пощечин. Лично я получал от него за всю молодежь второй роты.

А еще в нашей второй роте служил Саша по кличке Борман — КМС по боксу при ста двадцати килограммах чистого веса. Борман, в отличие от Кургена, никогда меня не трогал. Может, потому, что ему нравилось, как я играю на баяне и гитаре, а может, просто мелок я был и совсем не достоин его внимания. Но однажды счастье закончилось: кто-то из шестерок Бормана поднял меня в два часа ночи и сказал, что тот желает меня видеть одетым по всей форме. Для выполнения команды хватило сорока секунд. По истечении этого времени я уже стоял пред ясными очами бывшего спортсмена и уголовника, не обременяющего себя общественно полезным трудом.

— Пойдешь на кухню к Кургену, — лениво сказал Борман, — возьмешь у Кургена кастрюлю с картошкой и вареным мясом, булку хлеба, пачку масла, пачку сахара и чайник чая. Быстро! — добавил он и отвернулся, чтобы продолжить разговор с товарищами.

Там, где я был, вопросов не задавали. Через несколько минут я уже колотил в кухонную дверь — будил Кургена. Он открыл заспанный и мятый, зачем я пришел, даже не спросил — просто вlepил ладонью по лицу снизу вверх, после чего дверь снова затворилась.

Я лежал в сугробе и размышлял о переменчивости фортуны, о маме думал, как всегда, и еще о том, как ей сообщат о смерти моей либо безвестном исчезновении. Последнее будет зависеть от того, как надежно спрячут мой труп шестерки. Нужно было знать Бормана! А я его знал и поэтому даже не сомневался, что приговорен. Я поднялся и пошел в роту. Наверное, примерно так чувствовали себя евреи в немецком гетто, когда безропотно шли на казнь.

— Саша, — обратился я к Борману по имени, потому что называть его Борманом позволялось только приближенным, — Курген не дал мне ни мяса, ни картошки. Ничего.

— Почему? — удивился Саша.

— Потому что я не успел его об этом попросить.

И я рассказал Борману о кратковременной, но убедительно неудачной встрече с Кургеном.

— Иди и скажи Кургену, что это я послал тебя... Не бойся, — почему-то с грустью добавил Борман.

Я не мог не бояться, но и не верить Борману тоже не мог. В отряде было не принято не верить Борману. Вот, например, майор Мельничук — пузатый и тупой командир нашей роты — однажды не поверил на свою голову. И чем это закончилось? Хотите знать — так я расскажу.

Однажды Борман тихо разговаривал с близкими ему людьми, сидя на своей кровати. При этом он вкусно курил «Беломорканал» фабрики Урицкого № 2. Может, и другие курили — я не видел. Мельничук, будучи в состоянии аскетизма, а по-нашему так просто с бодуна, зашел в роту и, увидев Бормана курящим, произнес в его адрес монолог, который я здесь приводить не стану, потому как не всякий читатель поймет сказанное, а если и поймет, то не даст ему положительной оценки.

— Напрасно вы так говорите. Поверьте мне, так говорить нельзя, это может плохо для вас кончиться, — не повышая тона, ответил Борман и потянулся погасить папиросу, но не успел: Мельничук бросил в его сторону табурет.

Врать не буду, я не заметил, достиг ли табурет цели, не видел момента удара. Но на моих четырех глазах огромная туша Мельничука резко опрокинулась на спину. Мне тогда даже показалось, что сапоги на майоре остались слегка подрауты — так бывает с пешеходом, которого сбил автомобиль. Как Мельничук приходил в себя, я не наблюдал. Все, и я в том числе, дружно и без команды покинули помещение. Сами подумайте: кому охота записываться в свидетели, если дело дойдет до суда и следствия? Ко всеобщему удовлетворению, ни суда, ни следствия не состоялось. Майор, видимо, и сам понимал, что свидетелей не будет, и рапорт писать не стал.

...Я, однажды уже прервавший сладкий сон Кургена, был обречен, но опять пошел в сторону столовой. Результат был точно такой же, с той лишь разницей, что я успел сообщить армянину о том, кто поручил мне миссию доставки пищи в подразделение.

Кровь из носа капала на снег и бушлат, стекла очков были чем-то измазаны, и я шел почти вслепую. «Ну вот и все, мамочка», — в очередной раз подумал я перед тем, как войти в роту и сообщить Борману о результатах второго похода в столовую. Он слушал меня и молчал. Долго молчал. Потом поднялся и надел бушлат.

— Пошли, — сказал он, и я безропотно пошел умирать.

Но Борман убивать меня не спешил. В сторону столовой он шел даже впереди меня, еще и в дверь постучал сам. И только потом жестом указал встать возле.

— Опять ты?! — в очередной раз возмутился Курген, но ударить не успел.

Борман ловко перехватил его руку и почти ласково отвел в комнату заведующего столовой, где Курген жил, хоть и числился в списках первой роты. Я слышал, как Борман его бил. Видеть этого мне не полагалось.

Они вышли вместе. Лицо армянина было красным, как пожарная машина. Он молча собрал все, о чем его просили: чай, сахар, масло, картошку с мясом... Только количество еды было умножено на два. Мы — я и Борман — несли продукты. Я понимал, что все произошедшее меня от кары не спасет, а сейчас я нужен просто как рабсила. Еду и чай мы поставили на столы в ленинской комнате — и я с горечью подумал, что именно здесь меня будут поминать. Потом Борман приказал поднять с постели моих друзей или просто кого я захочу разбудить. Мне уже было все равно, и я поднял троих пацанов из своего призыва: Колю Зинько, Витю Беспалова и Сашку Хрепкова. Уже после подумал, что их, может быть, будут бить вместе со мной — и пожалел о том, что их поднял.

А нас не били. Борман налил каждому граммов по пятьдесят чистого питьевого спирта, стоившего в Ангарске, как сейчас помню, восемь рублей сорок шесть копеек за пол-литра, и сказал, что мы можем выпить и поесть.

На следующий день все ждали драки с армянами, но ее не случилось. Видимо, Курген не стал жаловаться своим, а может, и пожаловался, но армяне не решились поспорить с Борманом. Поэтому вечером того же дня мы задушевно пели песни вместе с Вачиком Васканыном и Володей Зайцевым. И играли: я — на баяне, Вачик — на аккордеоне, Зайцев — на гитаре. Ни дать ни взять, дружба народов СССР как она есть.

Я для чего рассказал вам все это — чтобы вы поняли: мы, дети разных народов, и ели, и воровали из одних котлов. Кому больше достанется, а кому меньше, не национальность решала, не должность и не воинское звание. Кулак и только кулак был основным источником неписаных законов стройбата. Он же был главной мерой приручения к соблюдению этих законов.

12

Я попал в стройбат прямо из детства. Это если не считать год работы токарем в еврейской бригаде. Не скажу, что там никто и никогда не ссорился. Всякое бывало. Вот, например, покойник Козулин (говорят, утонул потом пьяным) ссорился со мною из-за грязного токарного станка. Я привык оставлять станок сменщику сверкающим, смазанным свежим маслом, а сменщик мой этому, видимо, был не обучен. Однажды, разозлившись на мои «чистоплюйские требования», он сказал моему другу Сереге Пасютину, тоже уже покойному, чтобы тот закрыл мне рот. Серега, в котором было почти два метра роста и очень много килограммов веса, показал Козулину кулак и только тихо так произнес: «Не стой под грузом». На этом конфликт был исчерпан. В Ангарске Сереги не было. Он служил где-то в районе Мурманска в морской авиации, и его кулак если и был защитой, то не мне.

13

Все было бы терпимо, знай я тогда значение слова «подстава».

Прошло полгода. Успел отвалить домой первый состав дембелей, и уже молодые из числа бывших эсков стали поднимать пьяные головы и искать забавы.

Утром меня вызвал замполит части майор Коба. Он спросил, не видел ли я трех солдат, с которыми вместе работал на заводе. Я подумал, что он интересуется, не прогуляли ли они работу, и сказал, что видел всех троих в столовой. Только и всего.

Ночью меня подняли с постели свои же, моего призыва, пацаны. Позвали в бытовку и там спросили, был ли разговор с майором. Они спросили за разговор — и я, конечно, ответил, что разговор был. Когда получил удар в челюсть от Борьки Южакова, поинтересовался, за что. «Ты сдал пацанов замполиту. Они были в самоволке на заводе, а ты их сдал». Такой вариант мне и в голову не мог прийти. Замполит, оказывается, с моей помощью вычислил самовольщиков, оставшихся еще на одну смену в городе. Это была подстава и, главное, откупаться совсем нечем. Рожков Валера, шестерка блатных, «колотил тусовки»* вокруг меня и требовал, чтобы «с жиды спросили по понятиям». «Вот ты и спроси, — сказал почему-то Южаков. — Мы выйдем, а ты спроси».

Поскольку подняли меня с постели, я стоял перед Рожковым в одних трусах. А тот был одет полностью, в сапогах, и уже успел снять с пояса ремень — хороший такой ремень с тяжелой пряжкой. В тусклом и желтом, как ангарский снег, свете бытовки осталась лишь кривая улыбка Рожкова, который уверен был не столько в себе, сколько в помощи тех, кто за дверью. И не было рядом Сереги Пасютина. И пацанов из моей секции бокса тоже не было. Я как последний поц** был один против этой поганой улыбки. Я ударил почти на ощупь, а потом — еще и еще. Босьми ногами бить не мог, только руки отработывали «двочки» и «трочки» по кривой рожковской улыбке.

Сейчас мне его, в конце концов утонувшего пьяным в силосной яме, даже жалко. А тогда я испытывал наслаждение, будто в его крови было мое спасение.

Несколько раз я ударил его головой о дверной косяк и, когда тот обмяк, выкинул в умывальник. Рожок смывал кровь, а я видел перед собой печальное будущее «опущенного». Таких вещей не прощают...

...К выезду на завод готовилась третья смена. Я оделся, вышел из роты, блатных рядом не было. Меня никто не остановил. Я побрел по тропинке, ведущей к бурятскому кладбищу и поселку под названием Восьмое марта. Была ли это попытка побега, не знаю по сей день. Просто шел куда глаза глядят. Долго шел. Вышел к какому-то селению. Попытался спросить у местного мужика, где нахожусь, — а тот спустил с цепи собаку. Не скажу, что она сильно меня подрала. Так, царапины, мелочь, по сравнению с тем, что было на душе.

«Мама не переживет, если узнает, что я в бегах, — крутилось в мозгу. — Впрочем, долго мне бродить не придется. Либо ангарская зима остановит где-то неподалеку, либо прихватит первый же городской военный патруль. В части за побег даже на «губу» не посадят, просто будут долго бить, а после останешься вечно молодым и будешь до дембеля мыть полы и спать на втором ярусе».

Показалась дорога. ЗИЛ-131 тащил в деревянной будке с надписью «ЛЮДИ» очередную заводскую смену. Водитель притормозил сам. Я влез в будку. Никто не удивился моему появлению на дороге, ни о чем не спросил даже командир смены. Вместе со всеми я приехал на завод и приступил к работе. А утром ко мне подошел Южаков и сказал, чтобы я не обижался за то, что было вчера. «Ты сдал пацанов по незнанке, — сказал он, — а по незнанке спрос не канает». Южак был трезвым, а трезвым Южак не только муху — еврея не обидит.

* «Колотил тусовки» — «суетился» (жарг.).

** Поц — нецензурное сленговое выражение, используемое не столько в оскорбительном, сколько в ироничном значении. В буквальном переводе с идиш — половой член.

Хрипатый — Сашка Хрепков — пока не попал в психушку, имел два хобби: конопля и цитаты из доклада замполита части капитана Кобы. Того самого Кобы, который в солдатской курилке убеждал личный состав в том, что якобы сам видел на биробиджанском вокзале огромную надпись на еврейском языке «Хитроград».

Так вот, Хрипатый выкрикивает сейчас Кобины шедевры о братской семье советского народа, но никто не смеется. Наша озлобленная толпа похожа на разломанную железобетонную плиту, осерившуюся арматурой. Шестерки что-то орут в сторону стадиона, где собрались азербайджанцы. Шестерки подогревают толпу к драке, а сами после свалят. С той стороны тоже слышатся призывные вопли, но никто не делает и шага. У столовой стоит прапорщик Молчанов с двустволкой в руках. Он обещает пулю первому, кто рванется из толпы, и говорит, что ему за это ничего не будет..

К вечеру Молчанов сменится и увезет с собой ружье. Драка начнется ночью. Заточка, направленная в живот, угодит мне в локоть, и с этого момента начнется история о том, как еврейский мальчик стал почти героем стройбата. Да, в ангарском отряде случались события необъяснимые.

Обо всем этом я, конечно, маме не писал, иначе она добилась бы приезда в часть лично министра обороны.

Про майора Мешко я маме тоже не писал, поскольку сволочь он был просто удивительная! Кулаками почти не бил. В приступах гнева — а они у майора были регулярными — он бил табуретками, лопатами и даже кухонными бачками по голове. Мне от него ни разу не доставалось, но все когда-нибудь заканчивается, и удача тоже.

Удача покинула меня в тот момент, когда кто-то — я до сих пор не знаю, кто — загнал мне заточку под локоть. Утром руку разбарабанило так, что она стала размером с боксерскую перчатку. Фельдшер заподозрил гангрену, и меня повезли в городскую больницу. Доктор долго лил в рану перекись водорода, а потом сказал, обращаясь к молоденькой медсестре: «Может случиться так, что мальчику придется чикнуть руку». Боль не помешала мне сообразить, что «чикнуть» — это значит ампутировать. Я вдруг представил, как мы встречаемся с мамой, и у обоих нет правой руки... Еще я представил, что не смогу играть на баяне, на гитаре, и вообще ни на чем не смогу играть. Я плакал и даже медсестры не стеснялся.

Если про стройбат, то можно еще о многом.

Утром там все, кроме кандидатов на гауптвахту, выслушивают проповедь отцов-командиров о братской дружбе народов и о непоколебимом ленинском пути нашей партии. «Вы должны быть благодарны Родине за то, что она предоставила вам возможность защищать ее своим трудом. За это, кстати, вы еще и деньги получаете...» Так говорил наш замполит, и армейский плац утопал в слезах благодарности.

Утром мы все — русские, армяне, евреи, грузины... — сядем в «скотовозки», и нас развезут по заводам, где мы ратным воинским трудом будем смывать вчерашний позор. Впрочем, самые бластные опять свалят, их часть работы возьмут на себя молодые и шестерки.

Еще можно о том, например, что армейские проститутки — самые бесплатные в мире. В наказание их голыми привязывали к флажтокам для всеобщего обозрения и позора. А нечего попадаться на глаза дежурному по части.

Или рассказать вам о том, как паскудно себя чувствуешь, когда кладешь командиру роты майору Мельничуку пятерку за то, что он отпустил тебя в увольнение к матери, приехавшей за три тысячи верст?..

Хватит.

Утро было морозным и счастливым. Рука приняла обычную форму, и я вернулся в часть. Чтобы не маяться от безделья, я целую неделю, изо дня в день, заступал дежурным по штабу. По уставу утром я должен доложить первому вошедшему в штаб офицеру о том, что за время моего дежурства происшествий не случилось. Собственно, это я и сделал, когда однажды утром первым в штаб вошел майор Мешко. Его выражение лица красноречиво свидетельствовало, что ночь удалась, а утро было большим и постылым. Я вытянулся по стойке смирно и отдал честь, после чего чуть не отдал Богу душу.

Рука не заживала долго. Рана едва начала затягиваться, и область локтя была перетянута повязкой. Из-за этого ладонь явно не дотягивалась до козырька, и майора это взбесило. Он схватил меня за правую руку и силой притянул ладонь к козырьку. Рана лопнула, одновременно что-то оборвалось в груди... И в этот самый момент левая моя рука — подчеркиваю: не я, а она — отработала эффектный, прямой и неожиданный, как выстрел, удар, который пришелся майору в челюсть. Искры еще не потухли в моих глазах, и потому я не увидел, как Мешко, ударившись головой о стену, опустился на пол с недоумевающим выражением на лице.

И надо же такому случиться, в этот момент в помещение штаба вошел командир части майор Мальков. Удара он тоже не видел, зато видел меня, корчащегося от боли и обиды, и лежащего зама по тыловой работе майора Мешко, о которого буквально споткнулся...

...В кабинете командир сунул мне в зубы сигарету «Родопи» и дал прикурить. Дрожь стала проходить, но способность произносить осмысленные фразы я еще не приобрел, и потому командир попросил честно описать на бумаге происходящее. Терять было нечего, потому что все уже было потеряно. Я четко представлял себе холодную гауптвахту, камеру предварительного заключения и маму, которая всего этого не переживет.

Я в очередной раз потянулся к пепельнице и нечаянно задел локтем лист бумаги. Он стал красным. «Только маме не говорите», — попросил я и протянул командиру лист, испачканный кровью и каракулями.

Из штаба я ушел в санчаты на перевязку, а когда вышел, меня встречали дембеля. Цветов и музыки, правда, не было, но я теперь знаю, с каким настроением встречали Гагарина из его героического полета. Я был первым, кто «публично набил морду» майору Мешко, и никто не хотел верить, что сделал я это нечаянно.

К счастью, за два года службы из части не увезли ни одного цинкового гроба. Я и сейчас не верю, что трупов не было, но это факт. Мы резали и кололи друг друга ножами и арматурой, били по головам армейскими табуретами, и они ломались

о наши головы, как орехи. Чтобы возместить причиненный Родине вред, мы воровали крашенные марганцовкой табуретки на бурятском кладбище «8 Марта». Кого-то, конечно, комиссовали — Рожка вот, и Хрипатого, но никто не был убит.

Впрочем, одного близкого мне друга я все-таки потерял. Я обещал привезти его домой целым и спеть любимую мамину песню «Мама, милая мама, как тебя я люблю!» — но не уберег.

Тульский баян стоил сто двадцать восемь рублей. Его купила мне моя бабушка Эсфирь Моисеевна Герштейн, 1896 года рождения. В кредит. Из ее пенсии в сорок рублей ежемесячно удерживали двенадцать.

Мне было восемь. На том баяне я учился играть, мы понимали друг друга с «полузвука», врали и говорили правду в унисон, вместе смеялись и плакали, объяснялись в любви и хохмили. Мама прислала мне инструмент уже на втором году службы. Он плохо перенес дорогу и наотрез отказывался общаться, пока в переговоры не вступил замечательный грузинский парень Зурик Хунцария. Он бережно перебрал инструмент, и мы снова были вместе. На конкурсе армейской самодеятельности под него пели дети офицеров и вольнонаемные женщины — бухгалтеры и повара. Под него пели даже те, кто плохо говорил по-русски...

Меня не было, когда баян разбили в очередной драке. Вернувшись, я сидел над обломками старого друга, как над покойником, и тупо смотрел в пол. Мне хотелось зарезать кого-нибудь, но ни один человек в отряде так и не сказал мне, кто именно расправился с беднягой. Никакого другого имущества в армии у меня не было. Я даже дембельского альбома не делал. К чему мне память о стройбате? Дома я мечтал поскорее все забыть. Впрочем, домой нужно было еще вернуться.

Пятого ноября 1978 года иркутский аэропорт плакал, стонал и визжал тысячами голосов, мечтавших улететь до ноябрьских праздников. Нам с Костей Финкельсоном и Володей Зайцевым тоже очень хотелось домой. Больше многих. Присесть в аэропорту было негде, но мы таки нашли удобное место, где нас почему-то не трогали патрули. Втроем мы расположились на огромном деревянном ящике в цокольном помещении автоматической камеры хранения. Хотелось есть, но буфеты были пустыми, как пьяные глаза майора Мешко, как карман вымогателя солдатских денег прапорщика Флорена, вечно жаловавшегося на постигшую его бедность. Ни еды, ни водки.

Вовка достал из чехла гитару и начал ласково перебирать струны. Наши голоса поплыли по постылому, переполненному людским ожиданием зданию аэропорта. Гитара пошла по кругу. «Далеко журавли улетели, — хрипел Заяц, — где снега, где пурга, где дороги заносят метели...» Потом кто-то налил водки, кто-то подал кусок сала и домашний огурец на закуску... По-нес-лась!..

Мы исполняли номера программы, с которой наш отряд занял второе место по управлению строительства на конкурсе песни. Собственно, именно за это достижение нас и демобилизовали первыми из призыва.

Костя, наш замечательный Костя, душевно читал стихи, а мы с Зайцем по очереди создавали соответствующий музыкальный фон. Жаль, что любимого баяна у меня с собою не было.

Люди уходили на посадку, и на их место приходили другие. Они тоже слушали нас, кормили и поили. Процесс приобретения билета помню уже с трудом, дорогу, естественно, тоже. Помню только, как сильно расстроился, когда в самолете пролил

на китель томатный сок. Каким путем по прилете попал на хабаровский железнодорожный вокзал, тоже точно сказать не могу, но помню поезд, куда влез без билета благодаря какому-то студенческому строительному отряду. У них тоже была гитара, так что прощальную песню на биробиджанском перроне мы пели вместе.

20

Я дома. Я жив. Я ушел от зоны и «дизеля». Надо мною смеялся таксист, когда я потребовал отвезти меня от вокзала до женского общежития на Шолом-Алейхема, 25. Узнав, что за какие-то семьсот метров я заплачу целый рубль без сдачи, он смеяться перестал.

Мама на работе не было. Она к этому времени получила квартиру в соседнем доме. На вахте сидела все та же тетя Рива Сергеева. «У Дробкиной радость», — констатировала она, увидев меня, и тут же образно, во всех красках, передала, что было с мамой, когда та узнала про стройбат..

...Выветривался стройбат долго. Когда мне случалось напиться, я говорил с грязной примесью блатного жаргона. Мама плакала и не уставала повторять, что отправляла меня в армию добрым и ласковым мальчиком, и что все общежитие меня провожало, и все могут подтвердить, каким я тогда был.

*Команду номер двести двадцать
Мне дал родной военкомат.
Родная мама, вытри слезы:
Твой сын попал служить в стройбат.*

Пройдет много лет, а мама все будет просить меня спеть эту песню. И ни разу не забудет добавить, что она «служила» в стройбате вместе со мной.

В 1984 году журнал «Новый мир» напечатал повесть Сергея Каледина «Стройбат». Мне нечего было добавить к сказанному, так что со своим сочинением я решил подождать. А журнал с повестью Каледина я тогда спрятал подальше, чтобы он случайно не попал в руки маме.

